Владимир Маяковский

Париж

Владимир Владимирович Маяковский

Париж

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=21119254

Содержание

Владимир Маяковский	4
ЕДУ	5
ГОРОД	8
ВЕРЛЕН И СЕЗАН	12
NOTRE-DAME	22
ВЕРСАЛЬ	27
ЖОРЕС	33
ПРОЩАНИЕ	38
ПРОЩАНЬЕ	44
ПРИМЕЧАНИЯ	45

Владимир Маяковский
Париж (1924–1925)

Цикл стихотворений

ЕДУ

Билет —
щелк.
Щека —
чмок.
Свисток —
и рванулись туда мы
куда,
как сельди,
в сети чулок
плывут
кругосветные дамы.
Сегодня приедет —
уродом-урод,
а завтра —
узнать посмейте-ка:
в одно
разубран
и город и рот —
помады,
огней косметика.
Веселых
тянет в эту вот даль.
В Париже грустить?
Едва ли!

В Париже
площадь
и та Этуаль,
а звезды —
так сплошь этуали.
Засвистывай,
трись,
врезайся и режь
сквозь Льежи
и об Брюссели.
Но нож
и Париж,
и Брюссель,
и Льеж —
тому,
кто, как я, обрусели.
Сейчас бы
в сани
с ногами —
в снегу,
как в газетном листе б…
Свисти,
заноси снегами
меня,
прихерсонская степь…
Вечер,
поле,
огоньки,
дальняя дорога, —

сердце рвется от тоски,
а в груди —
тревога.
Эх, раз,
еще раз,
стих – в пляс.
Эх, раз,
еще раз,
рифм хряск.
Эх, раз,
еще раз,
еще много, много раз…
Люди
разных стран и рас,
копая порядков грядки,
увидев,
как я
себя протряс,
скажут:
в лихорадке.

1925

ГОРОД

Один Париж —
адвокатов,
казарм,
другой —
без казарм и без Эррио.
Не оторвать
от второго
глаза —
от этого города серого.
Со стен обещают:
«Un verre de Koto
donne de l'energie»[1].
Вином любви
каким
и кто
мою взбудоражит жизнь?
Может,
критики
знают лучше.
Может,
их
и слушать надо.
Но кому я, к черту, попутчик!
Ни души

не шагает
рядом.
Как раньше,
свой
раскачивай горб
впереди
поэтовых арб —
неси,
один,
и радость,
и скорбь,
и прочий
людской скарб.
Мне скучно
здесь
одному
впереди, —
поэту
не надо многого, —
пусть
только
время
скорей родит
такого, как я,
быстроногого.
Мы рядом
пойдем
дорожной пыльцой.
Одно

желанье
пучит:
мне скучно —
желаю
видеть в лицо,
кому это
я
попутчик?!
«Je suis un chameau»[2],
в плакате стоят
литеры,
каждая – фут.
Совершенно верно:
«je suis», —
это
«я»,
а «chameau» —
это
«я верблюд».
Лиловая туча,
скорей нагнись,
меня
и Париж полей,
чтоб только
скорей
зацвели огни
длиной
Елисейских полей.
Во всё огонь —

и небу в темь
и в чернь промокшей пыли.
В огне
жуками
всех систем
жужжат
автомобили.
Горит вода,
земля горит,
горит
асфальт
до жжения,
как будто
зубрят
фонари
таблицу умножения.
Площадь
красивей
и тысяч
дам-болонок.
Эта площадь
оправдала б
каждый город.
Если б был я
Вандомская колонна,
я б женился
на Place de la Concorde[3].

1925

ВЕРЛЕН И СЕЗАН

Я стукаюсь
о стол,
о шкафа острия —
четыре метра ежедневно мерь.
Мне тесно здесь
в отеле Istria[4] —
на коротышке
rue Campagne-Premiere[5].
Мне жмет.
Парижская жизнь не про нас —
в бульвары
тоску рассыпай.
Направо от нас —
Boulevard Montparnasse[6],
налево —
Boulevard Raspail[7].
Хожу и хожу,
не щадя каблука, —
хожу
и ночь и день я, —
хожу трафаретным поэтом, пока
в глазах
не встанут виденья.
Туман – парикмахер,

он делает гениев —
загримировал
одного
бородой —
Добрый вечер, m-r Тургенев.
Добрый вечер, m-me Виардо.
Пошел:
«За что боролись?
А Рудин?..
А вы,
именье
возьми подпальни»…
Мне
их разговор эмигрантский
нуден,
и юркаю
в кафе от скульни.
Да.
Это он,
вот эта сова —
не тронул
великого
тлен.
Приподнял шляпу:
«Comment ca va,
cher camarade Verlaine?»[8]
Откуда вас знаю?
Вас знают все.
И вот

довелось состукаться.
Лет сорок
вы тянете
свой абсент
из тысячи репродукций,
Я раньше
вас
почти не читал,
а нынче —
вышло из моды, —
и рад бы прочесть —
не поймешь ни черта:
по-русски дрянь, —
переводы.
Не злитесь, —
со мной,
должно быть, и вы
знакомы
лишь понаслышке.
Поговорим
о пустяках путевых,
о нашинском ремеслишке.
Теперь
плохие стихи —
труха.
Хороший —
себе дороже.
С хорошим
и я б

свои потроха
сложил
под забором
тоже.
Бумаги
гладь
облевывая
пером,
концом губы —
поэт,
как блядь рублевая,
живет
с словцом любым.
Я жизнь
отдать
за сегодня
рад.
Какая это громада!
Вы чуете
слово —
пролетариат? —
ему
грандиозное надо.
Из кожи
надо
вылазить тут,
а нас —
к журнальчикам
премией.

Когда ж поймут,
что поэзия —
труд,
что место нужно
и время ей.
«Лицом к деревне» —
заданье дано, —
за гусли,
поэты-други!
Поймите ж —
лицо у меня
одно —
оно лицо,
а не флюгер.
А тут и ГУС
отверзает уста:
вопрос не решен.
«Который?
Поэт?
Так ведь это ж —
просто кустарь,
простой кустарь,
без мотоРа».
Перо
такому
в язык вонзи,
прибей
к векам кунсткамер.
Ты врешь.

Еще
не найден бензин,
что движет
сердец кусками.
Идею
нельзя
замешать на воде.
В воде
отсыреет идейка.
Поэт
никогда
и не жил без идей.
Что я —
попугай?
индейка?
К рабочему
надо
идти серьезней —
недооценили их мы.
Поэты,
покайтесь,
пока не поздно,
во всех
отглагольных рифмах.
У нас
поэт
событья берет —
опишет
вчерашний гул,

а надо
рваться
в завтра,
вперед,
чтоб брюки
трещали
в шагу.
В садах коммуны
вспомнят о барде —
какие
птицы
зальются им?
Что
будет
с веток
товарищ Вардин
рассвистывать
свои резолюции?!
За глотку возьмем.
«Теперь поори,
несбитая быта морда!»
И вижу,
зависть
зажглась и горит
в глазах
моего натюрморта.
И каплет
с Верлена
в стакан слеза.

Он весь —
как зуб на сверле.
Тут
к нам
подходит
Поль Сезан:
«Я
так
напишу вас, Верлен».
Он пишет.
Смотрю,
как краска свежа.
Monsieur,
простите вы меня,
у нас
старикам,
как под хвост вожжа,
бывало
от вашего имени.
Бывало —
сезон,
наш бог – Ван-Гог,
другой сезон —
Сезан.
Теперь
ушли от искусства
вбок —
не краску любят,
а сан.

Птенцы —
у них
молоко на губах, —
а с детства
к смирению падки.
Большущее имя взяли
АХРР,
а чешут
ответственным
пятки.
Небось
не напишут
мой портрет, —
не трут
понапрасну
кисти.
Ведь то же
лицо как будто, —
ан, нет,
рисуют
кто поцекистей.
Сезан
остановился на линии,
и весь
размерсился – тронутый.
Париж,
фиолетовый,
Париж в анилине,
вставал

за окном «Ротонды».

1925

NOTRE-DAME

Другие здания
лежат,
как грязная кора,
в воспоминании
о Notre-Dame'е[9].
Прошедшего
возвышенный корабль,
о время зацепившийся
и севший на мель.
Раскрыли дверь —
тоски тяжелей;
желе
из железа —
нелепее.
Прошли
сквозь монаший
служилый елей
в соборное великолепие.
Читал
письмена,
украшавшие храм,
про боговы блага
на небе.
Спускался в партер,

подымался к хорам,
смотрел удобства
и мебель.
Я вышел —
со мной
переводчица-дура,
щебечет
бантиком-ротиком:
«Ну, как вам
нравится архитектура?
Какая небесная готика!»
Я взвесил все
и обдумал, —
ну вот:
он лучше Блаженного Васьки.
Конечно,
под клуб не пойдет —
темноват, —
об этом не думали
классики.
Не стиль…
Я в этих делах не мастак.
Не дался
старью на съедение.
Но то хорошо,
что уже места
готовы тебе
для сидения.
Его

ни к чему
перестраивать заново —
приладим
с грехом пополам,
а в наших —
ни стульев нет,
ни органов.
Копнёшь —
одни купола.
И лучше б оркестр,
да игра дорога —
сначала
не будет финансов, —
а то ли дело,
когда орган —
играй
хоть пять сеансов.
Ясно —
репертуар иной —
фокстроты,
а не сопенье.
Нельзя же
французскому Госкино
духовные песнопения.
А для рекламы —
не храм,
а краса —
старайся
во все тяжкие.

Электрорекламе —
лучший фасад:
меж башен
пустить перетяжки,
да буквами разными:
«Signe de Zoro»[10],
чтоб буквы бежали,
как мышь.
Такая реклама
так заорет,
что видно
во весь Boulmiche[11].
А если
и лампочки
вставить в глаза
химерам
в углах собора,
Тогда —
никто не уйдет назад:
подряд —
битковые сборы!
Да, надо
быть
бережливым тут,
ядром
чего
не попортив.
В особенности,
если пойдут

громить
префектуру
напротив.

1925

ВЕРСАЛЬ

По этой
дороге,
спеша во дворец,
бесчисленные Людовики
трясли
в шелках
золоченых каретц
телес
десятипудовики.
И ляжек
своих
отмахав шатуны,
по ней,
марсельезой пропет,
плюя на корону,
теряя штаны,
бежал
из Парижа
Капет.
Теперь
по ней
веселый Париж
гоняет
авто рассияв, —

кокотки,
рантье, подсчитавший барыш,
американцы
и я.
Версаль.
Возглас первый:
«Хорошо жили стервы!»
Дворцы
на тыщи спален и зал —
и в каждой
и стол
и кровать.
Таких
вторых
и построить нельзя —
хоть целую жизнь
воровать!
А за дворцом,
и сюды,
и туды,
чтоб жизнь им
была
свежа,
пруды,
фонтаны,
и снова пруды
с фонтаном
из медных жаб.
Вокруг,

в поощренье
жантильных манер,
дорожки
полны статуями —
везде Аполлоны,
а этих
Венер
безруких, —
так целые уймы.
А дальше —
жилья
для их Помпадурш —
Большой Трианон
и Маленький.
Вот тут
Помпадуршу
водили под душ,
вот тут
помпадуршины спаленки.
Смотрю на жизнь —
ах, как не нова!
Красивость —
аж дух выматывает!
Как будто
влип
в акварель Бенуа,
к каким-то
стишкам Ахматовой.
Я все осмотрел,

поощупал вещи.
Из всей
красотищи этой
мне
больше всего
понравилась трещина
на столике
Антуанетты.
В него
штыка революции
клин
вогнали,
пляша под распевку,
когда
санкюлоты
поволокли
на эшафот
королевку.
Смотрю,
а все же —
завидные видики!
Сады завидные —
в розах!
Скорей бы
культуру
такой же выделки,
но в новый,
машинный розмах!
В музеи

вот эти
лачуги б вымести!
Сюда бы —
стальной
и стекольный
рабочий дворец
миллионной вместимости, —
такой,
чтоб и глазу больно.
Всем,
еще имеющим
купоны
и монеты,
всем царям —
еще имеющимся —
в назидание:
с гильотины неба,
головой Антуанетты,
солнце
покатилось
умирать на зданиях.
Расплылась
и лип
и каштанов толпа,
слегка
листочки ворся.
Прозрачный
вечерний
небесный колпак

закрыл
музейный Версаль.

1925

ЖОРЕС

Ноябрь,
а народ
зажат до жары.
Стою
и смотрю долго:
на шинах машинных
мимо —
шары
катаются
в треуголках.
Войной обагренные
руки
умыв,
и красные
шансы
взвесив,
коммерцию
новую
вбили в умы —
хотят
спекульнуть на Жоресе.
Покажут рабочим —
смотрите,
и он

с великими нашими
тоже.
Жорес
настоящий француз.
Пантеон
не станет же
он
тревожить.
Готовы
потоки
слезливых фраз.
Эскорт,
колесницы —
эффект!
Ни с места!
Скажите,
кем из вас
в окне
пристрелен
Жорес?
Теперь
пришли
панихидами выть.
Зорче,
рабочий класс!
Товарищ Жорес,
не дай убить
себя
во второй раз.

Не даст.
Подняв
знамен мачтовый лес,
спаяв
людей
в один
плывущий флот,
громовый и живой,
по-прежнему
Жорес
проходит в Пантеон
по улице Суфло.
Он в этих криках,
несущихся вверх,
в знаменах,
в шагах,
в горбах
«Vivent les Soviets!..
A bas la guerre!..
Capitalisme a bas!..»[12]
И вот —
взбегает огонь
и горит,
и песня
краснеет у рта.
И кажется —
снова
в дыму
пушкари

идут
к парижским фортам.
Спиною
к витринам отжали —
и вот
из книжек
выжались
тени.
И снова
71-й год
встает
у страниц в шелестении.
Гора
на груди
могла б подняться.
Там
гневный окрик орет:
«Кто смел сказать,
что мы
в семнадцатом
предали
французский народ?
Неправда,
мы с вами,
французские блузники.
Забудьте
этот
поклеп дрянной.
На всех баррикадах

мы ваши союзники,
рабочий Крезо,
и рабочий Рено».

1925

ПРОЩАНИЕ

(КАФЕ)

Обыкновенно
мы говорим:
все дороги
приводят в Рим.
Не так
у монпарнасца.
Готов поклясться.
И Рем
и Ромул,
и Ремул и Ром
в «Ротонду» придут
или в «Дом»[13],
В кафе
идут
по сотням дорог,
плывут
по бульварной реке.
Вплываю и я:
«Garcon,
un grog
americain!»[14]

Сначала
слова
и губы
и скулы
кафейный гомон сливал.
Но вот
пошли
вылупляться из гула
и лепятся
фразой
слова.
«Тут
проходил
Маяковский давеча,
хромой —
не видали рази?» —
«А с кем он шел?» —
«С Николай Николаичем», —
«С каким?» —
«Да с великим князем!»
«С великим князем?
Будет врать!
Он кругл
и лыс,
как ладонь.
Чекист он,
послан сюда
взорвать…» —
«Кого?» —

«Буа-дю-Булонь[15].
Езжай, мол, Мишка…»
Другой поправил:
«Вы врете,
противно слушать!
Совсем и не Мишка он,
а Павел.
Бывало, сядем —
Павлуша! —
а тут же
его, супруга,
княжна,
брюнетка,
лет под тридцать…» —
«Чья?
Маяковского?
Он не женат». —
«Женат —
и на императрице». —
«На ком?
Ее же расстреляли…» —
«И он
поверил…
Сделайте милость!
Ее ж Маяковский спас
за трильон!
Она же ж
омолодилась!»
Благоразумный голос:

«Да нет,
вы врете —
Маяковский – поэт». —
«Ну да, —
вмешалось двое саврасов, —
в конце
семнадцатого года
в Москве
чекой конфискован Некрасов
и весь
Маяковскому отдан.
Вы думаете —
сам он?
Сбондил до иот —
весь стих,
с запятыми,
скраден.
Достанет Некрасова
и продает —
червонцев по десять
на день».
Где вы,
свахи?
Подымись, Агафья!
Предлагается
жених невиданный.
Видано ль,
чтоб человек
с такою биографией

был бы холост
и старел невыданный?!
Париж,
тебе ль,
столице столетий,
к лицу
эмигрантская нудь?
Смахни
за ушми
эмигрантские сплетни.
Провинция! —
не продохнуть. —
Я вышел
в раздумье —
черт его знает!
Отплюнулся —
тьфу, напасть!
Дыра
в ушах
не у всех сквозная —
другому
может запасть!
Слушайте, читатели,
когда прочтете,
что с Черчиллем
Маяковский
дружбу вертит
или
что женился я

на кулиджевской тете,
то, покорнейше прошу, —
не верьте.

1925

[13] Кафе на Монпарнасе.

[14] Официант,
грог
по-американски! (франц.)

ПРОЩАНЬЕ

В авто,
последний франк разменяв.
– В котором часу на Марсель? —
Париж
бежит,
провожая меня,
во всей
невозможной красе.
Подступай
к глазам,
разлуки жижа,
сердце
мне
сантиментальностью расквась!
Я хотел бы
жить
и умереть в Париже,
Если б не было
такой земли —
Москва.

1925

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] Стакан Кото дает энергию (франц.)
[2] Я верблюд (франц.)
[3] Площадь Согласия (франц.)
[4] Истрия (франц.)
[5] Название улицы в Париже (франц.)
[6] Бульвар Монпарнасс (франц.)
[7] Бульвар Распай (франц.)
[8] Как доживаете, дорогой товарищ Верлен? (франц.)
[9] Собор Парижской богоматери (франц.)
[10] Знак Зоро (франц.)
[11] Бульвар в Париже (франц.)
[12] Да здравствуют Советы!..
Долой войну!..
Долой капитализм!.. (франц.)
[15] Булонский лес.